

Кевин М. Ф. Платт

«Будущего нет»

ИСТОРИЯ, ИЛИ ДАР ИНАКОВОСТИ

Kevin M.F. Platt

No Future: History, or the Gift of Alterity

Кевин М. Ф. Платт

Пенсильванский университет, Филадельфия, кафедра российских и восточноевропейских исследований, сравнительного литературоведения и теории литературы, профессор; PhD kmfplatt@sas.upenn.edu.

Ключевые слова: темпоральность, ориентированность на будущее, капитализм, государственный социализм, арбитраж, автономия

УДК: 008.2+327+82

DOI: 10.53953/08696365_2026_200_4_275

Центральное место среди множества концептуализаций темпоральности и «повсеместной утраты будущего» (Реймонд Уильямс) занимает осмысление трансформаций капитализма по мере того, как он обретал новые, все более глобальные формы, достигая небывалого уровня проникновения в жизненный мир людей, а в финансовой сфере — новых уровней отрыва от реальной экономики. Хотя эти трансформации происходили параллельно с распадом социалистического мира, лишь немногие из теорий предметно рассматривают последствия этой утраты как значимый фактор сопутствующих темпоральных сдвигов. Настоящая статья обращается к этой недостаточно отрефлексированной теме, демонстрируя не только то, что конкуренция с государственно-социалистическими режимами истории и темпоральности имела решающее значение для поддержания режимов либерально-капиталистических, но и то, что структура социальной ценности в либерально-капиталистическом лагере сама по себе зависела от существования альтернативных социальных ценностей социалистического блока. В конечном счете утверждается, что социалистическая инаковость была критически важна для сохранения автономии политической и эстетической ценности, каковая, в свою очередь, служит фундаментом для темпорального воображаемого, выходящего за тесные рамки капиталистической экономической рациональности.

Kevin M. F. Platt

University of Pennsylvania, Professor of Russian and East European Studies and Comparative Literature and Literary Theory; PhD kmfplatt@sas.upenn.edu.

Keywords: temporality, futurity, capitalism, state socialism, arbitrage, autonomy

UDC: 008.2+327+82

DOI: 10.53953/08696365_2026_200_4_275

Central to many theorizations of temporality and «a widespread loss of the future» (Raymond Williams) has been consideration of the transformations of capitalism as it has taken new, increasingly global forms and achieved new levels of penetration into the lifeworld and abstraction in the realm of finance. Strikingly, although these transformations took place in parallel to the collapse and disappearance of the socialist world, few of these theorizations consider closely the effects of that vanishing as significant for concurrent shifts in temporality. The present article takes up this undertheorized topic, demonstrating not only that competition with state socialist regimes of history and temporality was critical to the maintenance of liberal capitalist ones, but that the structure of social value in the liberal capitalist world was itself dependent on the existence of the alternative social values of the socialist world. Ultimately, it is argued that socialist alterity was critical for the maintenance of the autonomy of political and aesthetic value, which is itself foundational for temporal imaginaries that exceed the narrow straits of capitalist economic rationality.

Исчезающее будущее

На исходе двадцатого века само время изменилось. Общие режимы темпоральности, определявшие индивидуальный опыт и глобальную политическую жизнь, вступили в новую фазу, по-разному проявляя себя в различных географических пространствах. В обществах государственного социализма угасающая приверженность марксизму-ленинизму оторвала повседневную жизнь и политику от прежней непоколебимой уверенности в коллективном историческом прогрессе, породив то, что — по крайней мере в СССР — получило название эпохи застоя. В развитых западных обществах эти десятилетия ознаменовались все более отчетливым разворотом общественной и политической жизни от будущего к прошлому в новообретенном ключе наследия и памяти; этот «бум памяти», как его ретроспективно окрестили, заложил фундамент для обращенных в прошлое идеологий, доминирующих в мире сегодня¹. В 1979 году Жан-Франсуа Лиотар опубликовал работу «Состояние постмодерна: доклад о знании», где предложил свой знаменитый диагноз нового «недоверия к метанарративам», выражающегося в скептицизме по отношению к историческому повествованию, утратившему «своего великого героя, свои великие опасности, свои великие странствия, свою великую цель»². Десятилетие спустя, в 1989 году, на фоне падения Берлинской стены Фрэнсис Фукуяма выступил со своим известным гегельянским тезисом о том, что крах государственно-социалистической идеи несет с собой триумф западного либерализма в форме «конца истории», который возвестит о наступлении «столетий скуки», когда текущие условия и идеалы будут длиться бесконечно³.

В те годы «пространство опыта» перестало связываться с «горизонтом ожиданий» так, как это было прежде, если воспользоваться терминологией Райнхарта Козеллека. В 1979 году — тогда же, когда Лиотар выпустил «Состояние постмодерна», — Реймонд Уильямс охарактеризовал настоящее как эпоху, отмеченную «повсеместной утратой будущего». Согласно его концепции, ориентированные на будущее коллективные действия и политическое воображаемое 1960-х годов — свойственные как социальным элитам и метрополиям мировых держав, так и бунтарской контркультуре и революционным политическим движениям, солидарным с процессом деколонизации, — потерпели крах из-за утраты исторической направленности. Это оставило после себя устрашающее и перманентное «равновесие страха», ослабление политического и утрату социального консенсуса, на смену которым пришли новые «до-

-
- 1 Winter J. The Memory Boom in Contemporary Historical Studies // *Raritan*. 2001. Vol. 21. № 1. P. 52–66.
 - 2 *Lyotard J.-F.* The Postmodern Condition: A Report on Knowledge / Trans. by G. Bennington and B. Massumi. Minneapolis: University of Minnesota press, 1984. P. xxiv. (Русский перевод: *Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н.А. Шматко. М.; СПб.: Институт экспериментальной социологии; Алетейя, 1998; однако поскольку цитаты приводятся автором статьи в обрывочном виде и встроены в новый контекст, было решено перевести их заново. Это же относится и к другим классическим работам, таким, как упоминаемые ниже статьи Ф. Фукуямы и Ф. Джеймисона, книги А. Ассман и Д. Харви. — Прим. ред.)
 - 3 *Fukuyama F.* The End of History? // *The National Interest*. 1989. № 16. P. 18. (Русский перевод: *Фукуяма Ф.* Конец истории? / [Пер. с англ.] // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134–148.)

минирующие формы» — «шок и утрата»⁴. В 1984 году, вслед за Лиотаром, Фредрик Джеймисон констатировал, что утверждающийся социокультурный режим постмодернизма «фактически упраздняет какое бы то ни было практическое ощущение будущего и коллективного проекта, тем самым отдавая осмысление грядущих перемен на откуп фантазиям о тотальной катастрофе и необъяснимом катаклизме»⁵. Подтверждая правоту этих диагнозов, грандиозные идеологические проекты XX века сегодня, в ретроспективе, кажутся нам каким-то чужеродным видом политической и социальной жизни. Безусловно, это означает, что в наши дни невозможны грандиозные проекты социальной инженерии того типа, которые в XX веке принесли массовые страдания. Однако это означает и то, что человечество, по всей видимости, отныне не способно наметить курс в будущее: оно парализовано не только в отношении масштабных замыслов, но и перед лицом насущных проблем, требующих безотлагательного решения, — от изменения климата до глобального здравоохранения, бедности и регулирования новых технологий.

Как мы увидим далее, аналитика распада связанных темпоральных режимов, предложенная Уильямсом и Джеймисоном, стала лишь первой в ряду аналогичных исследований, продолжающихся и по сей день. Любопытно, однако, что, вопреки тезису Фукуямы о крахе государственно-социалистической идеи как о рубежном событии, повлекшем за собой «конец истории», большинство теоретиков утраты будущего — от Джеймисона до более поздних заявлений Ханса Ульриха Гумбрехта и других — уделяли мало внимания последствиям этой критически важной глобальной трансформации. Именно этой проблеме посвящена настоящая статья. Сперва мы более пристально рассмотрим концептуализации темпоральности, а затем обратимся к исследованию социальной жизни и темпорального опыта эпохи холодной войны, фокусируя внимание не только на соперничестве либерально-капиталистического и социалистического миров, но и на недостаточно отрефлексированном взаимопроникновении этих арен социального и политического опыта. Как я попытаюсь показать, исчезновение глобального противостояния периода холодной войны и вместе с ним социально-политического воображаемого радикальной инаковости сыграло решающую роль в распаде темпорального режима конца XX века. Иными словами, инаковость — это ключ к темпоральности.

Присмотримся внимательнее к интеллектуальной истории исчезающего будущего. В 1979 году Уильямс уже констатировал принципиальное отсутствие будущего. Поразительно, но самому этому наблюдению была уготована долгая будущность. За прошедшие с тех пор почти полвека лейтмотив «утраты будущего» неоднократно артикулировался, видоизменялся и вновь запускался в интеллектуальный оборот. В 1996 году Франсуа Артог пояснял, что «будущее — это более не обещание или “принцип надежды”, но угроза»⁶, в то время как в 2000 году Андреас Гюйссен — диагностируя состояние современной

4 Williams R. *Modern Tragedy*. Revised edition. London: Verso, 1979. P. 208.

5 Jameson F. *Postmodernism, Or, The Cultural Logic of Late Capitalism* // *New Left Review*. 1984. № 146. P. 85. (Русский перевод расширенной до книги версии статьи см. в: Джеймисон Ф. *Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма* / Пер. с англ. Д. Кралечкина; под науч. ред. А. Олейникова. М.: Издательство института Гайдара, 2019.)

6 Hartog F. *Time and Heritage* // *Museum International*. 1996. Vol. 57. № 3. P. 16.

культурной жизни, охваченной непрекращающимся бумом памяти, — описал его как утрату веры в дискредитировавшие себя и устремленные в будущее концепции темпоральности, доминировавшие в XX веке, и разворот к кураторской заботе о всевозможных видах прошлого: «Начиная с 1980-х годов акцент, по всей видимости, сместился с настоящего будущего на настоящее прошлое»⁷. Подобный перечень цитат можно с легкостью продолжить, вплоть до предложенного Гумбрехтом в 2010 году в книге «Наше широкое настоящее» объяснения, согласно которому «будущее больше не предстает перед нами как открытый горизонт возможностей; напротив, это измерение, все более закрытое для любых прогнозов — и которое в то же самое время, кажется, надвигается на нас как угроза»⁸, а также исследования Алейды Ассман (2013), посвященного «затмению» будущего в ее работе «Распалась связь времен?»⁹.

Характерной чертой обширного массива теорий, посвященных утрате будущего, является акцент на трансформациях темпорального и пространственного измерений капитализма в конце XX века. В своей статье 1984 года Джеймисон связал подъем постмодернизма с наступлением «позднего капитализма» — эпохи транснационального капитала, когда глобальные сети капиталистического обмена обретают новую, сбивающую с толку непрозрачность, что, в свою очередь, оборачивается параличом мысли и действия, в том числе в отношении будущего. Кульминацией статьи Джеймисона становится его классическая интерпретация лос-анджелесского отеля «Бонавентура» (построенного архитектором и девелопером Джоном К. Портманом-младшим в 1974–1977 годах) как выражения «неспособности нашего разума — по крайней мере, на сегодняшний день — картографировать ту великую глобальную, транснациональную и децентрированную коммуникационную сеть, в которой мы оказались в ловушке как индивидуальные субъекты». Вспомним также предложенное Дэвидом Харви в 1990 году объяснение постмодерна как интенсификации «пространственно-временного сжатия», связанного с переходом капитализма конца XX века от фордизма к «гибкому накоплению», что сопровождалось ускоряющимся «уничтожением пространства временем» на фоне все возрастающих темпов глобальной экономической активности. Результатом чего, согласно Харви, становятся перманентная волатильность, эфемерность текущих условий, невозможность «долгосрочного планирования» и «схлопывание временных горизонтов», поскольку будущее начинает «дисконтироваться в настоящее»¹⁰.

-
- 7 Huyssen A. Present Pasts: Media, Politics, Amnesia // Public Culture. 2000. Vol. 12. № 1. P. 21.
 - 8 Gumbrecht H.U. Our Broad Present: Time and Contemporary Culture. New York: Columbia University Press, 2014. P. xiii. Перевод его кн.: Unsere breite Gegenwart. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2010.
 - 9 Assmann A. Is Time Out of Joint? On the Rise and Fall of the Modern Time Regime / Trans. by S. Clift. Ithaca: Cornell University press, 2020. P. 5. (Перевод ее кн.: Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne. Munich: Carl Hanser Verlag, 2013; русский перевод: Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2017.)
 - 10 Harvey D. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge: Blackwell Publishers, 1990. P. 284–307. (Русский перевод: Харви Д. Состояние постмодерна: Исследование истоков культурных изменений / Пер. с англ. Н. Проценко; под науч. ред. А. Павлова. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2021.)

Среди более поздних работ Джеймисона о постмодерне выделяется его статья 2003 года «Конец темпоральности», в которой, помимо прочего, рассматриваются новые абстракции финансового капитала. В этих условиях экономическая ценность обретает «полуавтономный статус», отрываясь от любых реальных мерил стоимости, в то время как возросшая «безотлагательность временных рамок» экономической жизни порождает новую «микротемпоральность» перманентной прекарности. Параллельно с этим процессы деколонизации и глобализации сталкивают каждое «я» с «бесчисленным множеством других», вымывая саму возможность постижения своей собственной «уникальной жизни или судьбы» и оставляя меня «наедине с моим уникальным настоящим — с настоящим времени, которое отныне анонимно и более не принадлежит никакому идентифицируемому биографическому “я” или частной судьбе»¹¹.

Более современный и детализированный анализ проблемы утраты будущего в ее связи с экономическим опытом и институтами представлен в монографии Лизы Адкинс «Время денег» (2018). Адкинс переформулирует диагноз исчезновения будущего, объясняя реконфигурацию темпоральности как результат целого ряда структурных трансформаций экономической деятельности конца XX — начала XXI века, затрагивающих все: от операций финансовых институтов до повседневных практик. В частности, ускоряющаяся секьюритизация долга переопределяет то, как он структурирует время: из займа, подлежащего возврату, долг превращается в гибкую систему отношений, которые можно «ускорить, замедлить, приостановить, отсрочить, перезапустить» и так далее, тогда как сама перспектива окончательного погашения отходит на задний план. Согласно Адкинс, перспектива итогового возврата долга становится менее значимой, чем способность продолжать его обслуживать, поскольку институты все чаще руководствуются логикой «выплат, а не погашения»¹². Параллельно с этим экспансия гибких трудовых практик и гиг-экономики формирует новый тип отношений индивида с трудом: на смену коллективному субъекту фордистского пролетариата приходит анонимная масса прекарных работников, вечно находящихся «между работами», ищущих временную занятость, проходящих переквалификацию в ожидании появления новых рынков труда, которые могут так никогда и не сформироваться. Эти и другие структурные трансформации в экономической жизни возводят о наступлении того, что Адкинс называет «спекулятивным временем», в рамках которого воспроизводство капитала за счет «денег в движении» приводит к лихорадочной циркуляции финансовых потоков на всех уровнях опыта. Как отмечает исследовательница в своих рассуждениях о субъективности и секьюритизированном долге:

Спекулятивный субъект, привязанный ко времени секьюритизированного долга, — это не субъект, который оплакивает утрату времени или не чувствует его течения; равно как и не субъект, лишенный настоящего, будущего или темпоральной ориентации. Напротив, это субъект, который должен быть в постоянной готовности адаптироваться к перекалибровкам прошлого, настоящего и будущего, а также к изменениям в отношениях между этими состояниями и внутри них. Будучи отнюдь не лишенным времени, субъект, привязанный к спекулятив-

11 Jameson F. The End of Temporality // Critical Inquiry. 2003. Vol. 29. № 4. P. 704, 710.

12 Adkins L. The Time of Money. Stanford: Stanford University Press, 2018. P. 91. Любопытно, что Адкинс не ссылается на работы Джеймисона со схожими концепциями.

ному времени секьюритизированного долга, располагает слишком большим количеством времени — пусть это и не равномерное календарное время, а событийные, нехронологические темпоральные рамки, из которых и складывается время секьюритизированного долга¹³.

Согласно концепции Адкинс, устремленная в будущее темпоральность становится для нас одновременно слишком тесной, с одной стороны, и чересчур рыхлой и непредсказуемой — с другой. Мы оказываемся подчинены непрерывному, усложняющемуся многомерному исчислению спекуляций и анализу рисков, что одновременно принуждает нас к непрерывной активности и парализует в паутине изменчивых, неопределенных обязательств в настоящем и ожиданий в будущем.

Денежный кристалл

Сидя в своем кабинете в Филадельфии и осмысляя собственную политическую и финансовую биографию, будучи свидетелем трансформаций жизненного мира, описанных Джеймисоном, Харви, Гумбрехтом и Адкинс, я узнаю в них социальную историю моей собственной жизни. Это история социальных и культурных форм капиталистического западного модерна по мере того, как они обретали глобальную гегемонию и все глубже проникали в повседневную жизнь. Но где в этих описаниях имманентных трансформаций и экспансии позднего капитализма мы можем обнаружить иные социальные формы и факт их исчезновения под натиском этого расширения? Каковы были последствия той, другой кардинальной трансформации времени и пространства, произошедшей на моем веку и свидетелем которой я также стал? В чем заключалось значение исчезновения не самого будущего, а социалистического мира?

Подходя к этому вопросу, позвольте мне начать с литературного примера, который наглядно проиллюстрирует реалии нашего нынешнего состояния, имеющие особое значение для постсоциалистической социальной жизни. Речь идет об «Афган-Кузьминках» (2008) — одном из выдающихся драматически-поэтических произведений Кети Чухров, повествующем о Гамлете, склонном к насилию рэкетире и оптовом поставщике товаров, и Гале, продащице за рыночным прилавком. Сюжет произведения разворачивается вокруг секса в обмен на продвижение по рыночной иерархии.

Гамлет:

Хочешь перейти на кожу и мех?

Галя:

За натуру, или так, ни за что?

Гамлет:

Ну за пару раз в примерочной, в общем сама смотри¹⁴

При этом над текстом неотступно витает возможность того, что даже из этой картины патриархальной и рыночно организованной деградации могли бы

13 Ibid. P. 98.

14 *Chukhrov K. Afghan-Kuzminki* // Keti Chukhrov (author's website) (URL: <https://ketichukhrov.com/afghan-kuzminki/>). Далее текст цитируется по этому источнику.

родиться подлинно человеческие отношения — любовь и взаимная поддержка, возвышающая обоих. Галя грезит о спасительной силе любви через образ проститутки, не берущей денег: «Если бы девчонка полюбила всех / Так же сильно как Христос, / Она бы бесплатной проституткой что ли стала...» Ближе к финалу произведения, как пишет Мариета Божович, Галя «читает над спящим телом Гамлета стихи из цветаевского цикла 1936 года “Стихи сироте”, словно накладывая любовное заклятие»¹⁵. Гамлет, который, возможно, подвергал Галю унижительным формам сексуальной эксплуатации, а возможно, и нет, грезит о «мир[е], в котором не было стен» и о том, что видел Галю «близко кожей к коже, до самых вен». Каким-то образом то, что начиналось как расчеловечивающее унижение, превращается во взаимное узнавание, возможно — в любовь, а возможно — и в видение эмансипации. Произведение рисует портрет людей, запертых в дурном настоящем без конца и выхода, над которым властвует закон рынка. Но в то же время, если вновь воспользоваться словами Божович, оно позволяет этим персонажам — пусть хотя бы на мгновение — «вырваться из своих индивидуальных тюрем и увидеть друг друга и открытое, мерцающее будущее»¹⁶.

В «Афган-Кузьминках» присутствует критически важный дестабилизирующий автореференциальный жест (как, впрочем, и во многих текстах Чухров, обнаруживающих характерные черты постмодернистского письма, хотя сейчас это не является предметом моего рассмотрения). Галя излагает авангардистскую фантазию о разрушении музеев ради того, чтобы вернуть искусство массам, на что Гамлет отвечает, как и подобает бизнесмену:

Галя:

А если б я рисовать как художница стала
Детям бы с картинами своими
Играть разрешала,
Скульптуру бы как рафинад ломала
И под язык, в рот.
Или бы с выставки забрала
И относила шпательницам из города Рудня впрок.

Гамлет:

В Рудне — не знаю,
А в Москве этот арт что такое
Что это денежное и крутое,
знают, так что продадут.

Этот диалог проливает иронический свет на собственные практики Чухров, ставя под сомнение саму возможность создавать искусство ради служения народу или утопической трансформации, а не ради рынка. Здесь центральное событие сюжета — секс за деньги, потенциально трансформирующийся в секс по любви, — предстает как аллегория, указывающая сразу во множестве направлений. Произведение ставит один из кардинальных вопросов наших дней: «Вы делаете это только ради денег?» Этот вопрос часто адресуют политикам (которые так-

15 *Bozovic M. Avant-Garde Post-: Radical Poetics After the Soviet Union. Cambridge: Harvard University Press, 2023. P. 213–214.*

16 *Ibid. P. 216.*

же фигурируют в «Афган-Кузьминках»). Его же задают и ангажированным левым художникам, таким как Чухров: «Действительно ли это политически ангажированное оппозиционное искусство или же просто стратегия для обретения художественного престижа — чтобы выигрывать гранты, получать стипендии, продавать работы в Гуттенхайм и зарабатывать деньги?» Если перевести это обратно на язык пьесы Чухров: «Вы это всерьез или вы нас просто разводите?»

Разумеется, никакой ответ здесь невозможен — будь то в случае Чухров, Дженни Хольцер или любого другого успешного радикального художника наших дней. Точно так же невозможен ответ и применительно к современной политической жизни, где за любыми, даже самыми «принципиальными» политическими жестами и решениями подозревается движение денег, служащее либо личной выгоде, либо корпоративной стратегии. Вместо этого мы должны распознать в автореференциальном обращении Чухров к данному вопросу ключевой элемент той критики, которую делает возможной ее произведение. «Афган-Кузьминки» призывают нас осознать условия существования социальной ценности в нашу эпоху гегемонного глобального капитализма, когда рыночные силы простерлись до самого горизонта, проникнув в каждую крупную нашу прожитую минуту. В наши дни границы между экономической ценностью и любыми другими ее формами ослабли до такой степени, что доводят формулы Маркса до их буквального предела:

Все делается предметом купли-продажи. Обращение становится колоссальной общественной риторикой, в которую все втягивается для того, чтобы выйти оттуда в виде денежного кристалла. Этой алхимии не могут противостоять даже мощи святых, не говоря уже о менее грубых *res sacrosanctae, extra commercium hominum* [священных предметах, исключенных из торгового оборота людей]¹⁷.

Чухров задается вопросом: как нам отличить любую человеческую деятельность — будь то в любви, искусстве или политике — от лежащих в ее основе экономических мотиваций? Точнее говоря, как нам извлечь человеческие отношения, искусство и политическое из того «денежного кристалла», в котором они растворились при позднем капитализме? Как нам вообразить альтернативные варианты будущего, находясь под гнетом экономического расчета, инфигирующего каждый миг и накрепко привязывающего нас к «спекулятивному времени» — к ограниченной рациональности и диктату настоящего, который несут в себе логика прибыли, риска, венчура, доходности, а также запланированных или отсроченных платежей?

Возможно, эти вопросы не имеют ответа. Они предельно отчетливо высвечивают те условия настоящего, которые описывали Харви, Джеймисон, Адкинс и другие. Но как мы к этому пришли? Мое утверждение, которое я обосную в оставшейся части статьи, заключается в следующем: эта радикализация господства экономической ценности и темпоральности над всеми прочими формами социальной ценности — политической, художественной, религиозной и так далее — является не просто следствием имманентных трансформаций капиталистической экономической жизни. Скорее, она была фор-

17 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том первый. Книга I: Процесс производства капитала / Пер. с нем. И.И. Степанова-Скворцова. М.: Политиздат, 1952. С. 138 (в оригинале автор ссылается на издание: Marx K., Engels F. Collected Works. Vol. 35. London: Lawrence & Wishart, 1996. P. 142. — Прим. пер.).

сирована исчезновением государственно-социалистического мира, который поддерживал альтернативный режим социальной ценности не только внутри самих социалистических обществ, но и в макроструктурах, капиллярных циркуляциях и воображаемых, пронизывавших весь разделенный мир двадцатого века в его тотальности.

Арбитраж

Чтобы убедиться, что дело обстоит именно так, давайте вернемся в эпоху холодной войны. Обращение к нескольким примерам транснациональной культурной жизни того времени поможет осознать, до какой степени противостояние капиталистического и социалистического миров не только формировало глобальную среду обитания конкурирующих систем, но и проникало в самую сердцевину социальной и политической жизни — в сами метаболические структуры смыслопорождения и социальной ценности¹⁸. На данный момент, обращаясь к теме социальной инаковости, я отложу в сторону рассмотрение темпоральности как таковой; она вновь выйдет на передний план в последующей части этой статьи.

В 1948 году Говард Фаст, американский писатель-коммунист, автор популярных исторических романов, предстал перед Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. В итоге он отсидел три месяца в тюрьме за отказ от дачи показаний и оказался в черном списке: его книги изымали из библиотек, издательские договоры были расторгнуты, а доходы свелись почти к нулю. Однако по мере того как его звезда закатывалась на Западе, на Востоке для него всходило солнце. С конца 1940-х годов переводы его произведений начали выходить в левых издательствах повсюду — от Москвы до Берлина и Буэнос-Айреса. В 1953 году Фаст был удостоен Сталинской премии мира. К 1955 году, благодаря небывалому росту его репутации во всем социалистическом мире, авторские гонорары Фаста выросли почти до уровня его прежних заработков. Любопытно, однако, что лишь малая часть этого дохода поступала от советских издателей. Как известно, советские учреждения имели ограниченный доступ к твердой валюте, а у советских издательств не было обязательств выплачивать гонорары иностранным авторам вплоть до присоединения СССР ко Всемирной конвенции об авторском праве в 1973 году. Несмотря на то что миллионы экземпляров его книг циркулировали в СССР, львиную долю гонораров Фасту приносили восточноевропейские коммунистические издательства. В конечном счете политические репрессии в США позволили Фасту обрести литературную славу в Москве, однако он конвертировал эту славу обратно в книжные продажи, а затем — в западную наличную валюту в таких местах, как послевоенный Восточный Берлин.

А теперь — шаг по ту сторону зеркала, через железный занавес. В 1974 году Владимир Войнович был исключен из Союза писателей СССР за свою оппози-

18 Более подробно примеры, обсуждаемые в этом разделе, я анализирую в: *Platt K.M.F. American Writing, Soviet Literary Capital, Berlin Exchange Rates: Howard Fast and Cultural Arbitrage // The Soviet Literary Cosmopolis: Literature, Nation-Building and the Claim on the World / Ed. by S. Frank, Z. Andronikashvili, T. Lahusen. Berlin: De Gruyter, 2026. P. 321–348.*

ционную политическую позицию, сатирические литературные произведения и несанкционированные публикации на капиталистическом Западе и в сам-издате. С этого момента и до декабря 1980 года, когда он был выслан из СССР, он не мог официально публиковаться в Советском Союзе и более не имел возможности зарабатывать там на жизнь писательским трудом. В 2009 году, во время выступления автора в Пенсильванском университете, я спросил Войновича, каким образом ему удавалось сводить концы с концами в те годы. Его ответ был таков: «Никакой проблемы не было». Хотя в СССР у него не было денег, его рассказы и книги, издававшиеся в Европе и США, приносили значительные авторские гонорары, доступ к которым он обеспечивал посредством остроумного хода: советским еврейским эмигрантам, покидавшим СССР, разрешалось вывозить с собой лишь ограниченное количество ценностей и обменивать на иностранную валюту только небольшую сумму рублей. Войнович помогал некоторым из них обходить эти ограничения. В обмен на «избыточные» рубли эмигрантов писатель выдавал долговую расписку, которую они могли предъявить его агенту на Западе — адвокату Леонарду Шрётеру, — а тот погашал ее в твердой валюте. (К сожалению, тогда я не догадался спросить, каким образом Войнович и Шрётер устанавливали обменный курс.)

Случаи Войновича и Фаста представляют собой примеры культурного арбитража. В финансах и торговле арбитраж означает «одновременную покупку и продажу ценных бумаг, валюты или товаров на различных рынках либо в производных формах с целью извлечения выгоды из различия цен на один и тот же актив»¹⁹. Иными словами, это искусство покупать дешево в одном месте и продавать дорого в другом. Классическая форма арбитража связана с валютными рынками, где трейдеры извлекают выгоду из ситуации, при которой цена определенной валюты у одного брокера отличается от цены у другого. Посредством одновременных сделок с обоими брокерами трейдеры могут использовать эту ценовую разницу для извлечения прибыли, ограниченной лишь масштабом возможного обмена, — до тех пор, пока рынки и брокеры не распознают ситуацию и не скорректируют свои котировки. Более сложная форма арбитража предполагает обмен двух валют в трехсторонней сделке через посредство третьей, когда первые две оцениваются таким образом, который расходится с их прямым обменным курсом. Во всех этих случаях арбитраж порождает богатство посредством словно бы магического ловкого приема: как сказано в одной энциклопедии экономических терминов, «арбитражная возможность представляет собой денежный насос»²⁰.

Термин «культурный арбитраж» можно рассматривать как прямое перенесение данного понятия в сферу культуры, понимаемой как совокупность благ или товаров, ничем не отличающихся от прочих. Экологический историк Эдвард Мелилло, например, определяет «культурный арбитраж» как «коммерческие стратегии, извлекающие выгоду <...> из расхождения смыслов, приписываемых товарам различными обществами»²¹. Он использует этот термин

19 Arbitrage // Oxford Dictionaries Online. 2022 (URL: https://premium-oxforddictionaries-com.proxy.library.upenn.edu/us/definition/american_english/arbitrage).

20 Dybvig P.H., Ross S.A. Arbitrage // The New Palgrave Dictionary of Economics. London: Palgrave Macmillan, 2018.

21 Melillo E.D. Making Sea Cucumbers Out of Whales' Teeth: Nantucket Castaways and Encounters of Value in Nineteenth-Century Fiji // Environmental History. 2015. Vol. 20. P. 459.

для описания тихоокеанской торговли XIX века, в центре которой находились специфические товары. Их можно было дешево приобрести и с огромной прибылью перепродать на тех рынках, где местные культурные практики наделяли их повышенной ценностью. Примером могут служить трепанги (морские огурцы), которые дешево добывались и консервировались на Фиджи, но высоко ценились в Китае за свои целебные свойства, или же зубы кашалота — малоценный избыточный продукт китобойного промысла, который в фиджийском обществе почитался как ритуальный объект обмена. Однако, как показывают даже эти сравнительно прямолинейные примеры, перенос концепта арбитража в культурную плоскость привлекает внимание к локальным, социальным основаниям экономической ценности. Культурный арбитраж демонстрирует не то, как цена детерминируется рынками (эффективными или нет), а то, как ценности — экономические и любые иные — конструируются во внеэкономических социальных и культурных сферах²².

Войнович был вовлечен в арбитражные операции высокой степени сложности, в ходе которых социальная ценность одновременно и последовательно обменивалась не только между различными культурными контекстами, но и посредством множественных, отличных друг от друга, но взаимосвязанных форм социального капитала. Здесь литературный перевод, культурный обмен, экономическая транзакция и политически мотивированная эмиграция совпадают и проникают друг в друга. Тексты Войновича, после его исключения из Союза писателей, имели в СССР нулевую экономическую ценность ввиду политического диктата. Однако они продавались по высокой цене при переносе в США, где их эстетическая ценность, напротив, лишь возрастала благодаря преследованиям автора в Советском Союзе. Чтобы получить доступ к этим доходам, писатель вступал во вторую арбитражную сделку: он обменивал доллары США, недоступные ему в СССР из-за политики международных экономических отношений эпохи холодной войны, на рубли, которые были совершенно бесполезны для советских евреев-эмигрантов вследствие политических ограничений на иммиграцию, различной политической значимости религиозных убеждений по разные стороны железного занавеса, а также неконвертируемости самого рубля. В этой двойной арбитражной схеме социальная ценность в ее различных формах двигалась с запада на восток и обратно по сложным траекториям — опираясь в каждом случае на разницу не просто в экономических показателях, но и в тех взаимосвязанных политических, экономических, религиозных и эстетических ценностях, которые служили фундаментом для экономических оценок.

Схожим образом в случае Фаста мы можем проследить путь социальной ценности, взятой абстрактно, через ее различные конкретные формы: от отрицательной стоимости его произведений на американском книжном рынке, вызванной политическими преследованиями, к росту политической и литературной репутации, культурного капитала и престижа в СССР, которые он затем

22 Как отмечает Сергей Ушакин, «культурный арбитраж не является актом мимикрии или воспроизведения, а осуществляет процесс трансформирующей транспозиции культурной формы путем изменения ее контекста» (*Oushakine S.A. «This is How They Do It In America»: Cultural Arbitrage in Soviet Russia // Red Migrations: Transnationalism and Leftist Aesthetics after 1917 / Ed. by P. Gleissner, B.A. Gorski. Toronto: Toronto University Press, 2023. P. 28–29).*

обменивал на экономический доход на Западе посредством публикаций в других форпостах социалистического мира, куда более щедрых на валютные гонорары, чем Москва. Условия этих арбитражных сделок зависели не только от экономических рынков, но и от взаимодействия и взаимозаменяемости политической, экономической и эстетической ценности (или капитала), а также от неравнозначных отношений и «обменных курсов», связывающих эти различные формы социальной ценности в социалистических и капиталистических обществах.

Глобальная ценность, два мира

Я привожу эти примеры из более широкого проекта, посвященного транснациональному культурному обмену в эпоху трех миров и рассматривающего множественные площадки политического, эстетического и экономического соприкосновения между социалистическим и капиталистическим мирами. Прежде всего, подобные случаи позволяют увидеть несоизмеримость различных форм социальной ценности в социалистическом и капиталистическом мирах: подобно тому, как рубли можно было обменивать на доллары лишь в рамках специализированных транзакций, эстетические и политические ценности социалистического мира и либерального Запада могли вступать в обмен только через особые зоны и механизмы²³.

Но именно поэтому такие примеры обнаруживают также взаимозависимость социальных институтов и воображаемого в капиталистическом и социалистическом мирах — и вместе с тем колоссальное различие между эпохой холодной войны и нашим временем. В отличие от положения дел, описанного Чухров, действия Войновича и Шрётера действительно были направлены на то, чтобы обеспечить советского автора доходом. И тем не менее обвинение в том, что Войнович «старается ради денег», звучало в те годы совсем не так, как сегодня. Это не значит, разумеется, что подобных обвинений не выдвигалось. В 1981 году, уже после эмиграции Войновича из СССР, он и другие бывшие советские писатели стали фигурантами статьи в «Литературной газете», обрушившейся с нападками на американских издателей, организовавших акцию в защиту свободы печати в СССР:

А в качестве «изгнанных» на чужбину бывших «советских писателей» прибыли нахлебники западных пропагандистских центров Иосиф Бродский, Владимир Войнович, Василий Аксенов и им подобные сочинители. Их общее антипатриотическое кредо довольно четко выразил Войнович: «Писатель не должен служить определенному обществу и даже народу». Служат такие, как Войнович, исключительно тем, кто их сегодня содержит, кормит, рекламирует²⁴.

Подобное обличение, опубликованное в официальном советском издании, хотя и могло вызвать сильный эмоциональный отклик у части советских чи-

23 В более развернутой версии данного исследования я опираюсь на системную социологию Никласа Лумана, чтобы точнее описать различия и взаимодействия социальной ценности капиталистического и социалистического миров. См.: *Platt K.M.F. American Writing, Soviet Literary Capital, Berlin Exchange Rates*.

24 *Николаев А.* Ярмарка подонков // Литературная газета. 1981. № 40. 30 сентября. С. 14.

тателей, на Западе производило прямо противоположный эффект — как, вполне вероятно, и у значительного числа более искушенных советских читателей. Для последних подобная атака лишь усиливала статус Войновича как преследуемого автора, покинувшего родину перед лицом политических репрессий. Иными словами, вместо того чтобы поставить под сомнение искренность его приверженности собственному искусству или политическим идеалам, она лишь укрепляла его репутацию человека эстетически и политически независимого. Более того, высокий спрос на его книги на Западе основывался именно на этой репутации.

Коротко говоря, в эпоху трех миров автономный характер эстетической, политической и экономической ценности был обусловлен наличием радикальной инаковости в самих режимах оценки ценности, существовавших в противостоящих друг другу мировых системах. Само существование социалистического мира, в котором выражение художественной автономии или героического политического протеста действительно не имело никакой ценности, — а порой даже обладало отрицательной ценностью, как, например, в СССР, — функционировало в социальном воображаемом либерального капиталистического мира как основополагающее доказательство того, что искусство обладает автономной ценностью, а политические идеалы независимы от экономического расчета. Именно потому, что ценность произведений Войновича, Бродского или Аксенова в СССР представлялась существующей «для себя», становилось возможным не замечать того обстоятельства, что в Нью-Йорке эти произведения покупались и продавались. (Нечто подобное можно сказать и о том, каким образом преданность Фауста социалистическим идеалам функционировала в СССР как свидетельство их автономной политической ценности, однако этот контекст не имеет центрального значения для настоящей статьи.) Искусство или литература, покупавшиеся и продававшиеся в Нью-Йорке, могли мыслиться как обладающие автономной ценностью и потому могли стоить дорого на открытом рынке именно постольку, поскольку в Москве они были лишены стоимости. Сходным образом идеал либеральной политической свободы на Западе поддерживался собирательным образом тех, кто подвергался репрессиям в СССР за оппозиционное политическое высказывание. В конечном счете именно арбитраж между двумя мировыми системами, именно перевод между их различными, но взаимосвязанными формами социального капитала и был той точкой, в которой капиталистическая и социалистическая ценность соприкасались со своими онтологическими основаниями в эпоху холодной войны. Экономическая, политическая и эстетическая ценности казались автономными именно потому, что взаимосвязи между ними демонстративно оказывались переменными, зависящими от контекста и местоположения.

Настоящая вещь (*The Real Thing*)

Распад СССР в 1991 году стал кульминационным моментом для арбитража между социалистическим и капиталистическим мирами — как в буквальном, экономическом, смысле этого слова, так и в том расширенном смысле, который я развиваю выше. В течение 1990-х годов, по мере того как экономические и социальные институты капиталистического Запада устремлялись в бывший социалистический мир, вся совокупность социальной, политической и эконо-

мической жизни оказалась во власти принципа арбитража. Политики и бизнесмены приобретали сырье и недвижимость по их социалистической, субсидируемой стоимости — здесь эшелон никеля, там нефтяная вышка — и продавали на Западе уже по рыночным ценам. Символические ресурсы СССР перекодировались и мобилизовывались ради капиталистической прибыли, что нашло свое воплощение в первой итерации постсоветской культуры ностальгии, эмблемами которой стали «Старые песни о главном», продажи часов под брендом КГБ и советские ретрорестораны. Для одних это было время головокружительного и дезориентирующего двойного зрения (как прекрасно показал Сергей Ушакин в своей концепции постсоветской афазии), тогда как для других, достаточно смекалистых, чтобы понять, как извлечь прибыль из разницы между двумя системами социальной ценности, столкнувшимися лицом к лицу в этом водовороте, — это было временем колоссальных возможностей²⁵.

Три взаимосвязанных примера помогут наглядно проиллюстрировать переход от прежнего мира к настоящему. Рассмотрим в первую очередь работу Александра Косолапова «Ленин — Coca-Cola» 1980 года: это картина акрилом на холсте, где классический силуэт Ленина соседствует с логотипом *Coca-Cola* и рекламным слоганом компании *It's the Real Thing* («Это настоящая вещь» / «Всегда Coca-Cola»), однако подпись «Ленин» под ним как бы заявляет его авторство. Все элементы картины выполнены белым цветом на красном фоне, отсылающем одновременно и к советскому флагу, и к фирменным цветам *Coca-Cola*. Второй пример — строфа из послания Тимура Кибирова «Сереже Гандлевскому: О некоторых аспектах нынешней социокультурной ситуации» (1990):

Там, где сияло раньше «Слава
КПСС», там «Кока-Кола»
Горит над хмурою державой,
Над дискотекой развеселой²⁶.

Третий пример — из романа Виктора Пелевина «Generation “П”»:

Там висела репродукция сталинского плаката — тяжелые красные знамена с желтыми кистями, в просвете между которыми весело синело здание университета. Плакат был явно старше Татарского лет на двадцать, но распечатка была совсем свежей.

— Это? Это один парень, который до тебя работал, на компьютере сделал, — ответил Ханин. — Видишь, там серп с молотом был и звезда, а он их убрал и вместо них поставил «coca-cola» и «соке».

— Действительно, — с удивлением сказал Татарский. — И ведь не заметишь сразу — такие же желтенькие²⁷.

25 Oushakine S.A. Third Europe-Asia Lecture. In the State of Post-Soviet Aphasia: Symbolic Development in Contemporary Russia // *Europe-Asia Studies*. 2000. Vol. 52. № 6. P. 991–1016.

26 Кибиров Т. Сереже Гандлевскому: О некоторых аспектах нынешней социокультурной ситуации // Синтаксис. 1990. № 29. С. 183–189. Более развернутую интерпретацию этого стихотворения см. в: Платт К.М.Ф. История в гротескном ключе: русская литература и идея революции / Пер. с англ. М. Маликовой. СПб.: Академический проект, 2007. Гл. 4.

27 Пелевин В. *Generation «П»*. М.: Вагриус, 1999. С. 137.

Два последних примера явно опираются на в высшей степени узнаваемую традицию первого — или, пожалуй, можно сказать, что они прямо на него ссылаются. Однако по своему смыслу они совершенно различны. Работа Косолапова отражает описанную выше ситуацию, когда социальные ценности эпохи холодной войны были противопоставлены друг другу, но при этом тесно переплетены. Демонстрируя посредством визуальной параномазии несоизмеримость социалистических и капиталистических идеологем, она предлагает притчу о художественной автономии как от политических догм, так и от капиталистических ценностей — но именно по этой причине обретает рыночную стоимость в Нью-Йорке, куда Косолапов к тому моменту только прибыл в эмиграцию. Она служит одновременно и примером, и аллегорией того, как художественная автономия и свободное политическое высказывание зависят от культурного арбитража.

Строфа Кибирова, в свою очередь, выражает чувство социальной и идеологической дезориентации в те годы, когда противостояние двух миров начало разрушаться. Поэма в целом открывается эпиграфом из незаконченного наброска Пушкина «Марья Шонинг», в котором недавно осиротевшая героиня размышляет о продаже семейного имущества. Произведение Кибирова можно прочесть как выражение тревоги в ситуации, когда и презируемые официальные клише, и заветные культурные идеалы оказываются контингентными (случайными и относительными) перед лицом того семиотического двоения зрения, которое было вызвано натиском капиталистической социальной системы.

Наконец, сцена из романа Пелевина знаменует собой заключительный этап крушения советского жизненного мира, на котором голая произвольность автономных социальных ценностей — будь то политических или эстетических — уступает место всеохватной редуктивной логике рынка. И если первый пример основывался на автономии эстетической, политической и экономической ценностей (и поддерживал ее), то последний наглядно демонстрирует ее опустошение капиталом.

Но то было тогда, а сейчас все иначе. В 1990-х годах на арбитраже делались целые состояния, теперь же люди стремятся просто поддержать стоимость своих акций и защитить свою долю рынка. Как эпоха трех миров, так и эпоха ее последствий официально завершились. Социалистического мира — а следовательно, и какой-либо альтернативы единой глобальной капиталистической системе — больше нет, и в значительной степени он превратно понимается и искажается в памяти даже в тех обществах, где государственный социализм господствовал десятилетиями. На интуитивном уровне вполне очевидно, что соперничество социалистической и капиталистической систем за глобальное доминирование поддерживало альтернативные режимы социальной жизни и ценности. Что, возможно, менее очевидно — так это то, что сама онтология социальной ценности внутри капиталистического мира зависела от существования его государственно-социалистического близнеца. Парадоксальным образом именно существование мира социалистического реализма гарантировало реальность автономного искусства на Западе. Именно существование однопартийного правления наполняло внутренним содержанием многопартийную демократию и либеральные свободы на Западе. Глобальное соревнование двух миров проживалось и ощущалось не только на пограничных пунктах или театрах военных действий, но и на уровне клеточного метаболизма общественной жизни.

Напротив, в нашу эпоху гегемонного глобального капитализма единственной реальностью является единый глобальный рынок, и только он устанавливает правильный смысл для всех прочих аспектов человеческой жизни. Чем более интегрированным становится этот рынок и чем глубже он проникает во все оставшиеся сферы человеческого опыта, тем менее возможным становится вообразить или постулировать инаковость. В сетях единого рынка ценность постепенно редуцируется к своему экономическому смыслу и делается все более абстрактной — больше не остается возможности «нащупать почву» под ногами и убедить себя в том, что политическое событие, произведение искусства или человеческий жест есть нечто иное, нежели очередное проявление капитала.

Назад в будущее

Каким образом из инаковости возникает будущее? И как арбитраж связан с темпоральностью? Рассмотрим еще один, последний пример из эпохи холодной войны — или, возможно, его следует рассматривать как продолжение наших предыдущих примеров. В конце 1975 года Леонард Шрётер, американский адвокат Войновича, представил пакет документов для слушаний по вопросу о международной «свободе писать и публиковаться». Эти слушания проводились Постоянным подкомитетом по расследованиям Сенатского комитета по правительственным операциям вскоре после подписания Заключительного акта Хельсинкского совещания²⁸. В материалах Шрётера подробно описывались исключение Войновича из Союза писателей СССР, невозможность публиковать его произведения в Советском Союзе и его преследования со стороны КГБ. Эти документы заняли свое место в широком массиве других материалов, представленных комитету, а также в показаниях американских издателей и общественных деятелей, посвященных свободе слова во всем мире, включая сами США.

Среди вызванных для дачи показаний был знаменитый драматург Артур Миллер. Его биография пролегла от тесной связи в 1930–1940-х годах с Коммунистической партией США (членом которой, впрочем, он никогда не состоял) и левыми движениями — ко все большему и большему дистанцированию от радикальных левых в поздние годы. Подобно Фасту, в 1950-х годах он был вызван для дачи показаний перед Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, однако чудом избежал тюремного заключения. Многие моменты в биографии Миллера, лавировавшего между выдающейся ролью в интеллектуальной и художественной жизни США и позицией критика американской внешней политики, могут быть рассмотрены сквозь призму арбитража. На протяжении всей своей карьеры Миллер вновь и вновь возвращался к работе на стыке социалистического и капиталистического миров. Его выступление перед Постоянным подкомитетом Сената по расследованиям — весьма показательный случай, ясно демонстрирующий тесную связь между арбитражем и режимом темпоральности эпохи холодной войны.

28 Negotiation and Statecraft: Hearings: Pt. 4. November 18, 1975 / Pursuant to Section 4, Senate Resolution 49, 94th Congress, with Panel on the International Freedom to Write and Publish. Washington: Superintendent of Documents, 1975.

В своих показаниях Миллер яростно критиковал Соединенные Штаты за установление и поддержку «южнокорейской диктатуры» и «длинного списка латиноамериканских диктатур», включая режим «мясника» Аугусто Пиночета в Чили. Однако его критика американской политики уравнивалась рассуждениями об интеллектуальной и художественной свободе в социалистическом мире — главной теме обсуждения на этих слушаниях и во множестве представленных для них материалов, включая дело Войновича. Миллер призвал США «отмыть собственные руки» именно для того, чтобы занять ту высокую моральную позицию, которая необходима, чтобы требовать облегчения участи для «целого поколения писателей» в Чехословакии, которым «запретили публиковать свои труды, а их неоконченные рукописи были сметены с их рабочих столов тайной полицией», а также для других людей во всем социалистическом мире, аналогичным образом лишенных свободы слова²⁹. Иными словами, сами показания Миллера представляли собой форму арбитражной сделки. Как и Войнович, Миллер использовал политические преследования социалистических художников и интеллектуалов для генерирования смысла и ценности на капиталистическом Западе. Разумеется, в отличие от Войновича, мотивация Миллера была не экономической (он не извлекал никакой прямой материальной выгоды из своего выступления), а политической. Он совершенно очевидно «делал это не ради денег». Он конвертировал подавленное свободное слово и эстетическое выражение в социалистическом мире не в экономическую ценность, а в политический смысл. Показания Миллера еще раз демонстрируют, как арбитраж эпохи холодной войны пускал инаковость в циркуляцию внутри самой клеточной структуры либерального капиталистического общества. Государственный социализм был той РНК, с помощью которой воспроизводилась ДНК либерального общества.

Однако показания Миллера обнаруживают также зависимость темпоральности от ресурса социальной инаковости. Каркас выступления драматурга составляли прогнозы относительно глобального исторического развития. Как он пояснил: «...жить — значит меняться, и подлинная политика либо направляет будущее к справедливости, либо уводит от нее, ведет либо к уважению человеческой личности, либо прочь от него»³⁰. Разрядка во имя мира была прекрасной инициативой, однако нельзя было допустить, чтобы она служила исключительно сохранению статус-кво, иначе угнетенные всего мира оказались бы обречены на «долгое будущее, в котором малым народам в особенности придется довольствоваться толикой благополучия, в обмен на которую их души будут вырваны — тихо, безжалостно, и все это ради благого дела: мира между гигантами»³¹. В заключение Миллер призвал интерпретировать Хельсинкские соглашения как призыв к укреплению «фундаментальных гарантий человеческой свободы по обе стороны» железного занавеса, с тем чтобы Соединенные Штаты могли «доказать перед собственными гражданами и всем миром, что их мощь существует не только для того, чтобы сделать мир безопасным для американского бизнеса, но и для того, чтобы ускорить эволюцию человечества навстречу достойному уважению к человеческой личности. <...>

29 Negotiation and Statecraft. P. 160–162.

30 Ibid. P. 162.

31 Ibid. P. 163.

Перед нами тоже лежит долгий эволюционный путь, и никто не знает этого лучше, чем мы сами»³².

Показания Миллера — как и в целом эти слушания Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, на которых звучали и другие подобные заявления, — иллюстрируют тесную взаимосвязь между ориентированностью на будущее и глобальным соревнованием эпохи холодной войны, которое было внедрено в западную социальную жизнь посредством множественных процедур арбитража. И это не просто следствие удобства и привычности общего большого нарратива о конфликте и соперничестве, а результат глобальных метаболических процессов обмена социальной ценностью в те годы. Главным предметом этих слушаний было подтверждение неотъемлемой и нередуцируемой ценности политических и эстетических свобод — автономии эстетических и политических ценностей, которая стала осязаемой и отчетливой благодаря примеру социалистического мира. Миллер решительно протестовал против предположения, что Соединенные Штаты «просто ведут дела» с подопечными режимами:

Давайте вести дела — в максимальных объемах и везде, где это только возможно, — не забывая при этом заботиться о нашей военной обороне. Внутренние дела других стран не подлежат нашему суду, равно как и они не вправе судить нас. Таков аргумент, на котором зиждется политика разрядки. Он ясен, лаконичен и убедителен. Единственная проблема с ним состоит в том, что он игнорирует факты. Мы не просто ведем дела с теми или иными странами. Мы, по сути, организовали финансовую блокаду правительства Альенде в Чили, и наше влияние сыграло решающую роль в его свержении, расчистив путь для нынешней кровавой диктатуры, которой мы теперь оказываем помощь. Мы не просто ведем дела с южнокорейской диктатурой, которая упразднила все демократические гарантии, которыми когда-то располагал ее народ.

В аргументации Миллера автономная природа политической, эстетической и экономической ценности выступала той осью, вокруг которой выстраивался его прогноз внеэкономического предвосхищения ориентированности на будущее. Инаковость, генерируемая в арбитражных процедурах, продуцировала эту ориентированность на будущее и лежала в ее фундаменте.

В заключении своей монографии Адкинс замечает, что «в эпоху денег границы между политическими интервенциями и экспансией и функционированием финансов очень часто оказываются размытыми и неотделимыми друг от друга»³³. В статье 2015 года, в которой он заново развернул и обновил свой диагноз современности как эпохи постмодерна, Джеймисон отмечал «растворение и прошлого, и будущего, своего рода современное заточение в настоящем», которое он соотносил с «нынешними фьючерсами на деривативы — да и вообще с фьючерсами финансового капитала, захваченными тем порочным циклом, в силу которого капитализм не может существовать, если он не продолжает расти и накапливаться, расширяться и производить все новый капитал из собственных операций»³⁴.

Подобные цитаты возвращают нас к тезису о коллапсе темпоральности по мере разрастания капитализма в нашу эпоху — в его глобальной экспансии,

³² Ibid. P. 164.

³³ Adkins L. The Time of Money. P. 174.

³⁴ Jameson F. The Aesthetics of Singularity // New Left Review. 2015. Vol. 92. P. 120–121.

в его колонизации человеческого опыта на все более молекулярном уровне, в усложнении его процессов. Однако экспансию капитализма и сопутствующие ей эффекты для темпоральности следует рассматривать также в соотношении с теми социальными мирами, за счет которых эта экспансия совершалась. Независимо от того, понимается ли исчезновение государственного социализма как катастрофическая утрата или как торжество либеральной идеи, сама структура либерального общества и его институтов в том виде, в каком они существовали в XX веке, зависела от их структурной интеграции с социалистическим миром.

Лиотар писал, что большой нарратив утратил «своего великого героя, свои великие опасности, свои великие странствия, свою великую цель»³⁵. С точки зрения западных капиталистических обществ к этому перечню существенных утрат можно добавить и «своего Великого Другого». Как я пытался показать, крушение государственного социализма не просто увеличило территорию, подпавшую под власть капиталистической системы. Оно также означало исчезновение социальной инаковости, имевшей критическое значение для поддержания социальных институтов и воображаемого капиталистического общества.

Именно утрата этой другой сцены оставила нас подвешенными в сингулярном мире, лишенном всякой внешней точки опоры, на которой можно было бы утвердить независимый смысл любой формы социальной ценности — эстетической, политической, религиозной или какой-либо иной, — вокруг которой мог бы организовываться и проецироваться временной опыт. Без нее мы оказываемся в руках «дельца и экономиста», способных вызвать к жизни лишь «краткосрочную ориентированность на будущее, организованную вокруг категорий успеха или неудачи, которые, по-видимому, не имеют особой релевантности для более крупных человеческих коллективов»³⁶. Мы также остаемся без ресурсов, необходимых для противостояния деградации политической жизни и мировых событий, когда их приводит в движение одна лишь экономическая рациональность.

В своем анализе последствий постмодернистского сжатия времени и пространства в эпоху транснационального капитала и гибкого накопления Харви предостерегает от опасностей враждебной контрреакции: «...имеется множество признаков того, что локализм и национализм усилились именно потому, что в условиях всех тех сдвигов, которые предполагает гибкое накопление, место по-прежнему обещает ту безопасность, к которой все стремятся. Возрождение геополитики и веры в харизматическую политику слишком хорошо укладывается в эту логику»³⁷.

В финале своей статьи «Конец истории?» Фукуяма говорит о «сильной ностальгии по тому времени, когда история еще существовала», по «готовности рискнуть жизнью ради чисто абстрактной цели» и по «всемирной идеологической борьбе, пробуждавшей дерзновение, мужество, воображение и идеализм». В заключение он отмечает: «Возможно, сама эта перспектива веков скуки в конце истории послужит тому, чтобы история началась заново»³⁸.

35 *Lyotard J.-F.* The Postmodern Condition. P. xxiv.

36 *Jameson F.* The Aesthetics of Singularity. P. 120.

37 *Harvey D.* The Condition of Postmodernity. P. 306.

38 *Fukuyama F.* The End of History? P. 18.

Нынешняя политическая жизнь и геополитический конфликт подтверждают и одновременно опровергают подобные прогнозы — причем весьма неутешительным способом. Нынешняя эпоха войн между соперничающими державами-гегемонами, движимая конкуренцией с нулевой суммой за ресурсы, территории и деньги, неизбежно разочарует всех, кто надеялся, что триумф глобального капитализма приведет к вечному миру.

Конструирование альтернативных историй и онтологий обращенными в прошлое политическими режимами, наделяющими слова противоположным смыслом по разные стороны линии фронта, дабы мобилизовать население на военные авантюры, — это судорожный и циничный поиск инаковости там, где ее нет; поиск, задействованный для того, чтобы поддержать видимость цивилизационных идеалов или политических принципов там, где на самом деле они отсутствуют.

Вместо этих патологических форм ностальгии по социальному порядку XX века или еще более раннего времени у нас остается лишь одна возможность: прорабатывать настоящее по направлению к непредсказуемому будущему, присоединившись к персонажам Кети Чухров, мечтающим о «мире, в котором не будет стен». Путь к этому миру лежит через освобождение политической и эстетической ценности от экономической жизни, однако механизмы такой эмансипации в нашу эпоху глобального капитализма еще только предстоит открыть.

Перевод с английского Алексея Порвина

Библиография / References

- Платт Кевин М.Ф.* История в гротескном ключе: русская литература и идея революции / Пер. с англ. М. Маликовой. СПб.: Академический проект, 2006.
(Platt Kevin M.F. History in a grotesque key. Russian literature and the idea of revolution. Saint Petersburg, 2006 — In Russ.)
- Adkins L.* The Time of Money. Stanford: Stanford University Press, 2018.
- Arbitrage // Oxford Dictionaries Online. 2022 (URL: https://premium-oxforddictionaries-com.proxy.library.upenn.edu/us/definition/american_english/arbitrage).
- Assman A.* Is Time Out of Joint? On the Rise and Fall of the Modern Time Regime / Trans. by S. Clift. Ithaca: Cornell University press, 2020.
- Bozovic M.* Avant-Garde Post-: Radical Poetics After the Soviet Union. Cambridge: Harvard University Press, 2023.
- Dybvig P.H., Ross S.A.* Arbitrage. The New Palgrave Dictionary of Economics. London: Palgrave Macmillan, 2018 (URL: https://doi-org.proxy.library.upenn.edu/10.1057/978-1-349-95189-5_449).
- Fukuyama F.* The End of History? // The National Interest. 1989. № 16. P. 3–18.
- Gumbrecht H.U.* Our Broad Present: Time and Contemporary Culture. New York: Columbia University Press, 2014.
- Hartog F.* Time and Heritage // Museum International. 1996. Vol. 57. № 3. P. 7–18.
- Harvey D.* The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge: Blackwell Publishers, 1990.
- Huyssen A.* Present Pasts: Media, Politics, Amnesia // Public Culture. 2000. Vol. 12. № 1. P. 21–38.
- Jameson F.* Postmodernism, Or, The Cultural Logic of Late Capitalism // New Left Review. 1984. № 146. P. 59–92.
- Jameson F.* The End of Temporality // Critical Inquiry. 2003. Vol. 29. № 4. P. 695–718.
- Jameson F.* The Aesthetics of Singularity // New Left Review. 2015. Vol. 92. P. 101–132.
- Lyotard J.-F.* The Postmodern Condition: A Report on Knowledge / Trans. by G. Bennington and B. Massumi. Minneapolis: University of Minnesota press, 1984.

- Melillo Edward D.* Making Sea Cucumbers Out of Whales' Teeth: Nantucket Castaways and Encounters of Value in Nineteenth-Century Fiji // *Environmental History*. 2015. Vol. 20. P. 449–474.
- Oushakine S.* Third Europe-Asia Lecture. In the State of Post-Soviet Aphasia: Symbolic Development in Contemporary Russia // *Europe-Asia Studies*. 2000. Vol. 52. № 6. P. 991–1016.
- Oushakine S.* «This is How they Do It In America»: Cultural Arbitrage in Soviet Russia // *Red Migrations: Transnationalism and Leftist Aesthetics after 1917* / Ed. by P. Gleissner and Bradley A. Gorski. Toronto: Toronto University Press, 2023. P. 25–87.
- Platt Kevin M.F.* American Writing, Soviet Literary Capital, Berlin Exchange Rates: Howard Fast and Cultural Arbitrage // *The Soviet Literary Cosmopolis: Literature, Nation-Building and the Claim on the World* / Ed. by S. Frank, Z. Andronikashvili and T. Lahusen. Berlin: De Gruyter, forthcoming.
- Williams R.* *Modern Tragedy*. Revised edition. London: Verso, 1979.
- Winter J.* The Memory Boom in Contemporary Historical Studies // *Raritan*. 2001. Vol. 21. № 1. P. 52–66.